

Владимир Маяковский

Облако в штанах

Вступление

Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжиревший лакей на засаленной кушетке, буду дразнить об окровавленный сердца лоскут: досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней! Мир огромив мощью голоса, иду - красивый, двадцатидвухлетний.

Нежные! Вы любовь на скрипки ложите. Любовь на литавры ложит грубый. А себя, как я, вывернуть не можете, чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться из гостиной батистовая, чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает, как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите буду от мяса бешеный - и, как небо, меня тона хотите буду безукоризненно нежный, не мужчина, а - облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца! Мною опять славословятся мужчины, залежанные, как больница, и женщины, истрепанные, как пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было, было в Одессе.

"Приду в четыре", - сказала Мария. Восемь. Девять. Десять.

Вот и вечер в ночную жуть ушел от окон, хмурый, декабрь.

В дряхлую спину хохочут и ржут канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы: жилистая громадина стонет, корчится. Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно и то, что бронзовый, и то, что сердце - холодной железкою. Ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское.

И вот, громадный, горблюсь в окне, плавлю лбом стекло окошечное. Будет любовь или нет? Какая большая или крошечная? Откуда большая у тела такого: должно быть, маленький, смиренный любеночек. Она шарахается автомобильных гудков. Любит звоночки коночек.

Еще и еще, уткнувшись дождю лицом в его лицо рябое, жду, обрызганный громом городского прибора.

Полночь, с ножом мечась, догнала, зарезала, вон его!

Упал двенадцатый час, как с плахи голова казненного.

В стеклах дождинки серые свылись, гримасу громадили, как будто воют химеры Собора Парижской Богоматери.

Проклятая! Что же, и этого не хватит? Скоро криком издерется рот. Слышу: тихо, как больной с кровати, прыгнул нерв. И вот, сначала прошелся едва-едва, потом забегал, взволнованный, четкий. Теперь и он и новые два мечутся отчаянной четкой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы большие, маленькие, многие! скачут бешеные, и уже у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится, из тины не вытянутся отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали, будто у гостиницы не попадает зуб на зуб.

Вошла ты, резкая, как "нате!", муча перчатки замш, сказала: "Знаете я выхожу замуж".

Что ж, выходите. Ничего. Покреплюсь. Видите - спокоен как! Как пульс покойника. Помните? Вы говорили: "Джек Лондон, деньги, любовь, страсть", а я одно видел: вы - Джоконда, которую надо украсть! И украли.

Опять влюбленный выйду в игры, огнем озаряя бровей загиб. Что же! И в доме, который выгорел, иногда живут бездомные бродяги!

Дразните? "Меньше, чем у нищего копеек, у вас изумудов безумий". Помните! Погибла Помпея, когда раздражили Везувий!

Эй! Господа! Любители святотатств, преступлений, боен, а самое страшное видели лицо мое, когда я абсолютно спокоен?

И чувствую "я" для меня мало. Кто-то из меня вырывается упрямо.

Алло! Кто говорит? Мама? Мама! Ваш сын прекрасно болен! Мама! У него пожар сердца. Скажите сестрам, Люде и Оле, ему уже некуда деться. Каждое слово, даже шутка, которые изрыгает обгорающим ртом он, выбрасывается, как голая проститутка из горящего публичного дома. Люди нюхают запахло жареным! Нагнали каких-то. Блестящие! В касках! Нельзя сапожища! Скажите пожарным: на сердце горящее лезут в ласках. Я сам. Глаза наслезненные бочками выкачу. Дайте о ребра опереться. Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу! Рухнули. Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем из трещины губ обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама! Петь не могу. У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел из черепа, как дети из горящего здания. Так страх схватиться за небо высил горящие руки "Лузитаний".

Трясущимся людям в квартирное тихо стоглазое зарево рвется с пристани. Крик последний, ты хоть о том, что горю, в столетия выстони!

2

Славьте меня! Я великим не чета. Я над всем, что сделано, ставлю "nihil".

Никогда ничего не хочу читать. Книги? Что книги!

Я раньше думал книги делаются так: пришел поэт, легко разжал уста, и сразу запел вдохновенный простак пожалуйста! А оказывается прежде чем начнет петься, долго ходят, размолевет от брожения, и тихо барахтается в тине сердца глупая вобла воображения. Пока выкипячивают, рифмами пиликают, из любвей и соловьев какое-то варево, улица корчится безъязыкая ей нечем кричать и разговаривать.

Городов вавилонские башни, возгордись, возносим снова, а бог города на пашни рушит, мешая слово.

Улица муку молча перла. Крик торчком стоял из глотки. Топорщились, застрявшие поперек горла, пухлые тахи и костлявые пролетки грудь испешеходили.

Чахотки площе. Город дорогу мраком запер.

И когда все-таки! выхаркнула давку на площадь, спихнув наступившую на горло паперть, думалось: в хорах архангелова хорала бог, ограбленный, идет карать!

А улица присела и заорала: "Идемте жрать!"

Гримируют городу Круппы и Круппики грозящих бровей морщ, а во рту умерших слов разлагаются трупики, только два живут, жирея "сволочь" и еще какое-то, кажется, "борщ".

Поэты, размокшие в плаче и всхлипе, бросились от улицы, ероша космы: "Как двумя такими выпеть и барышню, и любовь, и цветочек под росами?" А за поэтами уличные тыщи: студенты, проститутки, подрядчики.

Господа! Остановитесь! Вы не нищие, вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным, с шага саженым, надо не слушать, а рвать их их, присосавшихся бесплатным приложением к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить: "Помоги мне!" Молить о гимне, об оратории! Мы сами творцы в горящем гимне шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста, феерией ракет скользящего с Мефистофелем в небесном паркете! Я знаю гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я, златоустейший, чье каждое слово душу новородит, именинит тело, говорю вам: мельчайшая пылинка живого ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте! Проповедует, мечась и стена, сегодняшнего дня крикогубый Заратустра! Мы с лицом, как заspanная простыня, с губами, обвисшими, как люстра, мы, каторжане города-лепрозория, где золото и грязь изъязвили проказу, мы чище венецианского лазорья, морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет у Гомеров и Овидиев людей, как мы, от копоти в оспе. Я знаю солнце померкло б, увидев наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы - молитв верней. Нам ли вымаливать милостей времени! Мы каждый держим в своей пятерне миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий Петрограда, Москвы, Одессы, Киева, и не было ни одного, который не кричал бы: "Распни, распни его!" Но мне люди, и те, что обидели вы мне всего дороже и ближе.

Видели, как собака бьющую руку лижет?!

Я, обсмеянный у сегодняшнего племени, как длинный скабресный анекдот, вижу идущего через горы времени, которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый, главой голодных орд, в терновом венце революций грядет шестнадцатый год.

А я у вас - его предтеча; я - где боль, везде; на каждой капле слезовой течи распял себя на кресте. Уже ничего простить нельзя. Я выжег души, где нежность растили. Это труднее, чем взять тысячу тысяч Бастилий!

И когда, приход его мятежом оглашая, выйдете к спасителю вам я душу вытащу, растопчу, чтоб большая! и окровавленную дам, как знамя.

3

Ах, зачем это, откуда это в светлое весело грязных кулачищ замах!

Пришла и голову отчаянием занавесила мысль о сумасшедших домах.

И как в гибель дредноута от душащих спазм бросаются в разинутый люк сквозь свой до крика разодранный глаз лез, обезумев, Бурлюк. Почти окровавив исслезенные веки, вылез, встал, пошел и с нежностью, неожиданной в жирном человеке взял и сказал: "Хорошо!" Хорошо, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана! Хорошо, когда брошенный в зубы эшафоту, крикнуть: "Пейте какао Ван-Гутена!"

И эту секунду, бенгальскую, громкую, я ни на что б не выменял, я ни на...

А из сигарного дыма ликерною рюмкой вытягивалось пропитое лицо Северянина. Как вы смеете называться поэтом и, серенький, чирикать, как перепел! Сегодня надо кастетом кроиться миру в черепе!

Вы, обеспокоенные мыслью одной "изящно пляшу ли", смотрите, как развлекаюсь я площадной сутенер и карточный шулер. От вас, которые влюбленностью мокли, от которых в столетия слеза лилась, уйду я, солнце моноклем вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив, пойду по земле, чтоб нравился и жегся, а впереди на цепочке Наполеона поведу, как мопса. Вся земля поляжет женщиной, заерзает мясами, хотя отдаться; вещи оживут губы вешины засюсюкают: "цаца, цаца, цаца!"

Вдруг и тучи и облачное прочее подняло на небе невероятную качку, как будто расходятся белые рабочие, небу объявив озлобленную стачку. Гром из-за тучи, зверея, вылез, громадные ноздри задорно высморкая, и небе лицо секунду кривилось суровой гримасой железного Бисмарка. И кто-то, запутавшись в облачных путях, вытянул руки к кафе и будто по-женски, и нежный как будто, и будто бы пушки лафет.

Вы думаете это солнце нежненько треплет по щечке кафе? Это опять расстрелять мятежников грядет генерал Галифе!

Выньте, гулящие, руки из брюк берите камень, нож или бомбу, а если у которого нету рук пришел чтоб и бился лбом бы! Идите, голодненькие, потненькие, покорненькие, закисшие в блохастом грязненьке! Идите! Понедельники и вторники окрасим кровью в праздники! Пускай земле под ножами припомнится, кого хотела опошлить!

Земле, обжиревшей, как любовница, которую вылюбил Ротшильд! Чтоб флаги

трепались в горячке пальбы, как у каждого порядочного праздника выше вздымайте, фонарные столбы, окровавленные туши лабазников.

Изругивался, вымаливался, резал, лез за кем-то вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза, вздрагивал, околевая, закат.

Уже сумашествие.

Ничего не будет.

Ночь придет, перекусит и съест. Видите небо опять иудит пригоршню обгрызанных предательством звезд?

Пришла. Пирует Мамаем, задом на город насеv. Эту ночь глазами не проломаем, черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы, вином обливаю душу и скатерть и вижу: в углу - глаза круглы, глазами в сердце въелась богоматерь. Чего одаривать по шаблону намалеванному сиянием трактирную ораву! Видишь - опять голгофнику оплеванному предпочитают Варавву? Может быть, нарочно я в человечьем месиве лицом никого не новей. Я, может быть, самый красивый из всех твоих сыновей. Дай им, заплесневшим в радости, скорой смерти времени, чтоб стали дети, должные подрасти, мальчишки - отцы, девочки - забеременели. И новым рожденным дай обрасти пытливой сединой волхвов, и придут они и будут детей крестить именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и Англию, может быть, просто, в самом обыкновенном Евангелии тринадцатый апостол. И когда мой голос похабно ухаet от часа к часу, целые сутки, может быть, Иисус Христос нюхает моей души незабудки.

4

Мария! Мария! Мария! Пусти, Мария! Я не могу на улицах! Не хочешь? Ждешь, как щеки провалятся ямкою попробованный всеми, пресный, я приду и беззубо прошамкаю, что сегодня я "удивительно честный". Мария, видишь я уже начал сутулиться.

В улицах люди жир продырявят в четырехэтажных зобах, высунут глазки, потертые в сорокгодовой таске, перехихикиваться, что у меня в зубах - опять! черствая булка вчерашней ласки. Дождь обрыдал тротуары, лужами сжатый жулик, мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп, а на седых ресницах да! на ресницах морозных сосулeк слезы из глаз да! из опущенных глаз водосточных труб. Всех пешеходов морда дождя обсосала, а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет; лопались люди, проевшись насквозь, и сочилось сквозь трещины сало, мутной рекой с экипажей стекала вместе с иссосанной булкой жевотина старых котлет.

Мария! Как в заживевшее ухо втиснуть им тихое слово? Птица побирается песней, поет, голодна и звонка, а я человек, Мария, простой, выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни. Мария, хочешь такого? Пусти, Мария! Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны. На шее ссадиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь - натыканы в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка! Не бойся, что у меня на шее воловьей потноживотые женщины мокрой горою сидят, это сквозь жизнь я тащу миллионы огромных чистых любовей и миллион миллионов маленьких грязных любят. Не бойся, что снова, в измены ненастье, прильну я к тысячам хорошеньких лиц,

"любящие Маяковского!" да ведь это ж династия на сердце сумасшедшего восшедших цариц. Мария, ближе! В раздетом бесстыдстве, в боящейся дрожи ли, но дай твоих губ неисцветшую прелесть: я с сердцем ни разу до мая не дожили, а в прожитой жизни лишь сотый апрель есть. Мария!

Поэт сонеты поет Тиане, а я весь из мяса, человек весь тело твое просто прошу, как просят христиане "хлеб наш насущный даждь нам днесь".

Мария - дай!

Мария! Имя твое я боюсь забыть, как поэт боится забыть какое-то в муках ночей рожденное слово, величием равное богу. Тело твое я буду беречь и любить, как солдат, обрубленный войною, ненужный, ничей, бережет свою единственную ногу. Мария не хочешь? Не хочешь!

Ха!

Значит - опять темно и понуро сердце возьму, слезами окапав, нести, как собака, которая в конуру несет перееханную поездом лапу. Кровью сердце дорогу радую, липнет цветами у пыли кителя. Тысячу раз опляшет Иродиадой солнце землю голову Крестителя. И когда мое количество лет выпляшет до конца миллионом кровинок устелется след к дому моего отца.

Вылезу грязный (от ночевок в канавах), стану бок о бок, наклонюсь и скажу ему на ухо: - Послушайте, господин бог! Как вам не скушно в облачный кисель ежедневно обмакивать раздобрившие глаза? Давайте - знаете устроимте карусель на дереве изучения добра и зла! Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу, и вина такие расставим по столу, чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу хмурому Петру Апостолу. А в рае опять поселим Евочек: прикажи, сегодня ночью ж со всех бульваров красивейших девочек я натащу тебе. Хочешь? Не хочешь? Мотаешь головою, кудластый? Супишь седую бровь? Ты думаешь этот, за тобою, крыластый, знает, что такое любовь? Я тоже ангел, я был им сахарным барашком выглядывал в глаз, но больше не хочу дарить кобылам из сервской муки изваянных ваз. Всемогуший, ты выдумал пару рук, сделал, что у каждого есть голова, отчего ты не выдумал, чтоб было без мук целовать, целовать, целовать?! Я думал - ты всеильный божище, а ты недоучка, крохотный божик. Видишь, я нагибаюсь, из-за голенища достаю сапожный ножик. Крыластые прохвосты! Жмитесь в раю! Ерошьте перышки в испуганной тряске! Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою отсюда до Аляски!

Пустите!

Меня не остановите. Вру я, в праве ли, но я не могу быть спокойней. Смотрите звезды опять обезглавили и небо окровавили бойней! Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду!

Глухо.

Вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо.

1914-1915